

О.Г. Буховец,

доктор исторических наук, профессор

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕТСКОМУ ЦИВИЛИЗАЦИОННОМУ НАСЛЕДИЮ

Чем дальше уводит история новые независимые государства от советской эпохи, тем более актуальным, как это ни парадоксально, становится вопрос о том, в какой степени могут пригодиться сохранившиеся элементы советской цивилизации для устройства постсоветского мира. Представим на этот счет некоторые соображения теоретико-методологического порядка. В их контексте, как представляется, понимание указанного вопроса будет более разносторонним, полным и точным, чего постсоветскому гуманитарному познанию как раз и не хватает.

Эпохи более или менее масштабных общественных перемен создают принципиально новые условия и возможности для социально-гуманитарного познания (собственно и призванного обеспечить их постижение), переформируют рамки научного мышления, изменяют «познавательный хабитус» гуманистики в целом. Во многом это происходит вследствие значительного расширения в такие периоды возможностей «включенного наблюдения». Понятием «хабитус» (*habitus*) в современной гуманистике, вслед за П. Бурдьё, определяются ментальные модели постижения социального мира.

Другое дело — насколько в каждом конкретном случае ученые *субъективно* в состоянии реализовать этот объективный потенциал в конкретных исследованиях с тем, чтобы реально обеспечить повышение «разрешающей способности» социальных наук в эпоху перемен. Не единожды именно использование несовершенных моделей понимания тех или иных процессов и явлений в переходные эпохи, выбор неадекватных путей и методов их анализа обрекали гуманитарное познание на эпистемологические «пробуксовки», а то и просто свержали его в состояние определенного «эвристического ступора».

Системный кризис «реального социализма» второй половины XX в., быстро переросший затем в коллапс, застал социальную науку «второго мира» врасплох. Обретя интеллектуальную свободу и освободившись от жесткого контроля со стороны официальной идеологии, она, взятая в совокупности, по существу успела приступить лишь к обновлению своих *внешних форм*, «упаковки», «этикеток». Сущностно-содержательная же ее «начинка», аналитический потенциал, на уровне не отдельно взятых ученых, а в совокупности, успели измениться слишком мало для того, чтобы она смогла в то время выработать *самостоятельные* стратегии познания начавшегося уже в большинстве стран второго мира «транзита» — политического, экономического, социального, духовно-ментального. В духе тогдашней эпохи выход из такой ситуации виделся очень простым — импорт. В данном случае — научный импорт.

Самым ярким и, увы, оказавшимся по истечении времени самым укоризненным примером этому является «импорт» в наше научное пространство зарубежных теоретических моделей восприятия и интерпретации транзитивных процессов и явлений. Ведь в предшествующие полтора-два десятилетия западные экономисты, политологи, социологи, историки, культурологи исследовали и обобщили обширный материал о транзите в разных регионах третьего мира, прежде всего по Латинской Америке. Он-то и был востребован в странах «реального социализма» как особо ценная статья научного импорта, призванного компенсировать острый дефицит аналогичных исследований по второму миру.

В считанные несколько лет в социально-гуманитарной сфере знаний большинства социалистических стран происходит генеральная инверсия научных норм и авторитетов. Уже в конце 1980-х — начале 90-х гг. в трудах советских обществоведов вместо обязательных прежде ритуальных положений типа «классики марксизма-ленинизма о...» занимают ссылки на западных авторов. Смена научных вех была настолько всеобъемлющей, что уже к середине 1990-х гг. западные ученые становятся для постсоветской, не говоря уже о постсоциалистической, науки не просто авторитетными и часто цитируемыми иностранными коллегами-специалистами, а, по существу, *нормативной референтной группой*.

Конечно, были и скептики, которые выражали сомнение по поводу универсальной применимости соответствующих наработок зарубежных специалистов. Высказывались, в частности, предупреждения о том, что простое принятие «импортированных» моделей «к исполнению», без предварительной их настройки на то особенное и индивидуально-неповторимое, которое присуще нашей части мира, может завести нашу науку в очередную «эпистемологическую ловушку» [1, 2]. Однако в обстановке снизившихся в ту эпоху грандиозных перемен критериев истинности научного знания голоса скептиков почти не были слышны в хоре тех, для кого не существовало сомнений в том, что модель транзита, сработавшая в Аргентине или Чили, сработает и в постсоветских странах.

Однако приписывавшиеся названным теоретическим схемам политического и экономического транзита «универсальность» и «классические характеристики» не просто не получили подтверждения в ходе конкретных трансформационных процессов, которые пережили и продолжают переживать бывшие социалистические страны. Они, кроме того, с редкой наглядностью свидетельствуют еще и о *фундаментальности* заложенной в них ошибки *отождествления второго и третьего мира*. Нельзя не отметить также, помимо прочего, что идея «нормативности» транзитологических концепций *не только для тех* частей мира, на чьем эмпирическом материале они вырабатывались *post factum*, но и *для других*, в которых на момент оформления таких концепций данные явления абсолютно никак *еще и не проявлялись*, — просто сама по себе заслуживает места в «хрестоматии по научной наивности».

Некоторые ученые, ссылаясь на упомянутые системные ошибки в познавательных стратегиях транзитологии, говорят уже о необходимости перехода к «посттранзитологии» [3]. Это очень резонное предложение. И одновременно поучительный пример, предостерегающий о том, *каким путем не нужно идти* и в других областях социально-гуманитарного познания. Ведь аналогичные опасности подстерегают и довольно тесно связанные с транзитологией цивилизационные исследования, которые так стремительно в последние 5—7 лет разворачиваются в России и других странах СНГ.

Единственным перспективным путем для таких исследований представляется не механическое проецирование «западного взгляда» на незападные ареалы и реалии «сверху», а выстраивание теории «снизу», на основе историко-цивилизационного опыта и современной действительности тех частей мира, к которым принадлежат пространственно и геокультурно те или иные страны. Тем более актуальным представляется такой курс в ситуации нарастающей в современном мире *плюрализации* путей общественного развития, усиления *нелинейного* характера нынешних политических, экономических, социальных, национально-этнических, духовно-ментальных процессов и явлений. В соответствии с этим все более настоятельным становится «двустороннее», а не «одностороннее» «движение по путям научного сообщения» между западными и незападными частями мира.

Вторая половина XIX — начало XX в. — эпоха глубоких трансформаций, затронувших в большей или меньшей мере все выделяемые специалистами «живые» цивилизации. Но если для западной и позже японской цивилизации самыми масштабными и мучительными стали процессы модернизации, то для китайской, индуистской и исламской — борьба за освобождение от колониальной зависимости, предмодернизация, а затем и модернизация в последние десятилетия XX в.

Однако самые глубокие и далеко идущие трансформации претерпела, несомненно, русская православная цивилизация, сменив в итоге потрясения Первой мировой войны, революции и Гражданской войны саму цивилизационную парадигму почти на 75 лет.

Модернизация как многомерный процесс преобразования традиционных (основанных на аграрной экономике, с преобладанием сельского, в большинстве неграмотного или малограмотного населения) обществ в современные началась в Российской империи на несколько десятилетий позже, нежели в соседних странах западной цивилизации — Германии и Австро-Венгрии. Основные модернизационные инструменты — индустриализация, урбанизация, культурная революция и демографический переход — в ускоренном режиме в России начали действовать в конце XIX — начале XX в. Однако из-за низкого стартового уровня «домашние задания» по экономическому, социальному, культурному развитию огромной страны на XX в. объективно оставались заданиями повышенной сложности еще даже накануне Первой мировой войны и последовавших затем великих потрясений. Так, в частности, несмотря на высокую динамику индустриального развития, в 1913 г. на про-

мышленность приходилось еще только 27 % ВВП, тогда как на сельское хозяйство — 51 %. Слишком невысокими оказались и темпы урбанизации: вследствие этого доля городского населения к 1913 г. достигла лишь 15 %.

Противоречивым был и ход культурной модернизации. При всем том, что в первые десятилетия XX в. государство прилагало большие усилия для развития народного образования, в 1913 г. удельный вес грамотных поднялся только до 54 % среди мужчин и до 26 % — среди женщин. При этом функциональная грамотность была еще ниже.

Поскольку демографический переход — «арьергардный» фактор модернизации (производный от действия трех указанных), то в этом плане значительные системные изменения, конечно, еще были впереди. По-прежнему жизнь значительной части населения (особенно сельского) продолжала протекать в рамках патриархальных составных (расширенных) семей. Они представляли собой, по сути, маленькие «абсолютистские государства», в которых женщины и дети были социально неполноценным, дискриминируемым большинством.

Взяв в 1917 г. власть и отстояв ее в ходе Гражданской войны, большевики, волей-неволей, получили в качестве «эстафетной палочки» и указанные «домашние задания». Да еще и в чрезвычайно отягощенном семью годами военного и революционного лихолетья варианте!

Для выполнения их советскому государству объективно необходимо было выработать особую модель «догоняющей», ускоренной модернизации [4—7]. Согласно исследованиям известных российских ученых А. Вишневого, Б. Миронова и других, сутью советского варианта модернизации являлось обеспечение технологического и материального прогресса страны на основе воссозданных социальных институтов традиционного общества, прежде всего общинных. Особенно много проявлений общинного социального строя специалисты находят в сталинской эпохе. При том, что именно к этому времени русская православная цивилизация была окончательно оттеснена коммунистической диктатурой и превратилась в *субцивилизацию* [8].

Отсюда вытекает и выраженная противоречивость результатов стремительной по историческим меркам советской модернизации. С одной стороны, данная модель модернизации не сумела создать адекватные социальные механизмы ни для *саморазвития* экономики, ни для обеспечения необходимой гибкости социальной структуры, ни для функционирования институтов гражданского общества и политической демократии.

Однако, с другой стороны, она, сделав СССР страной по преимуществу городской, оказалась способной не только воспринять, но отчасти даже *развить* многие инструментальные достижения западных обществ: современные технологии, внешние формы жизни и бытовой культуры, науку, образование и др. Наряду с этим советская модель обеспечила также *секуляризацию* массового сознания, *рациональную мотивацию* поведения, поразительно высокую *социальную мобильность*, демографическую революцию и *становление современного типа малой демократической семьи* [4, 5]. Эти явле-

ния советской модели модернизации и привели некоторых очень известных западных ученых (Р. Арон, Дж.К. Гэлбрейт) в конце 1960-х гг. к выводам, согласно которым советский и западный миры «представляют собой единую реальность — индустриальную цивилизацию». Конвергенция между советской и западной индустриальными системами «идет по всем основным направлениям» [9].

Особенным образом вторая сторона советской модернизации дала знать о себе уже в послесталинскую эпоху. В условиях внутрисистемной «демократизации» и либерализации духовной жизни в СССР 1950-х — 1960-х гг. стало обнаруживать себя противоречие между общинно-патерналистскими социальными институтами советского государства и появившимся в результате модернизации грамотным человеком с секуляризованным сознанием, рациональным мышлением и поведением. Превращение же такого человека в *массовый тип* предопределило в 1960-е — 1970-е гг. последовательную переориентацию большинства населения страны на ценности городской *индивидуалистической культуры*.

В 1970-е — первой половине 1980-х гг. *усиленное* стимулирование этой социокультурной трансформации обеспечивалось действием целого комплекса факторов. Во-первых, процесс возвышения потребностей в тогдашнем советском урбанизированном социуме происходил в условиях «затухающей» динамики экономического, социального, политического развития. Во-вторых, тогда же были установлены массовые критические и негативные стереотипы в отношении институтов и персоналий власти, «геронтократии», «социалистической демократии», казенной идеологии и культуры. В-третьих, «информационные окна», появившиеся в условиях мирного сосуществования и разрядки и позволившие населению советской страны «заглянуть» за «железный занавес», обеспечили наибольший демонстрационный эффект от созерцания западного мира именно в 1970-е — 1980-е гг.

Перестройка, системный кризис, приведший к развалу СССР, слом основных несущих опор «советской цивилизации» создали принципиально новые рамочные условия для формирования постсоветского массового сознания и культуры. Теперь уже советская цивилизация, которая господствовала в СССР и во втором мире большую часть XX в., превратилась в *субцивилизацию*. В новых независимых государствах в этот период происходит «посттоталитарная атомизация», которая выражается в разрушении либо существенном ослаблении старых социальных, этнонациональных, социокультурных связей и идентификаций. Это дало сильные импульсы для дальнейшей индивидуализации сознания. Выступая в элементарных («классических») своих формах, она, следует подчеркнуть, приводит и уже привела к беспрецедентному ослаблению межличностных связей, атрофии групповых структур, дискредитации в массовом сознании общественных начал [10].

Важно отметить, что в постсоветском мире уже отчетливо обозначился и такой отвечающий духу современности вид индивидуализации, как персонализация, которая в Западной Европе заявила о себе еще в последние десяти-

летия XX в. Опыт скандинавских стран, где она проявилась наиболее широко, свидетельствует, что ее изначально отличает именно ориентация на культивирование различных форм социальности. И поскольку указанные процессы не затухают, а, напротив, развиваются далее, то через их призму совершенно неубедительными выглядят констатации и предостережения аналитиков либерал-западнического направления о том, что «Россия по своей природе страна авторитарная, если не сказать — тоталитарная», что ее «социокультурная модернизация отстала от экономической, якобы, *на целый век* (выделено мною — О.Б.)», и вообще она-де может в будущем «превратиться в своего рода Евро-Китай» [11—13].

Отмеченные минусы советской модернизационной модели [14], усиливаемые, следует это особо подчеркнуть, процессами постсоветской «демодернизации» [15], «антимодернизации» [16], общей тенденцией к «цивилизационному регрессу» [17] и «третьемиризации» российского, украинского и других обществ — наследников СССР [15—19], — все же не в состоянии (во всяком случае в ближайшей перспективе) «перекодировать» системные, фундаментальные характеристики этих уже так или иначе модернизированных социумов. Ведь по-прежнему Россию, Беларусь, Украину и другие постсоветские государства от стран третьего мира отличает более высокий уровень урбанизации, грамотности, качественные и количественные показатели уровня высшего образования и науки, развитая промышленная инфраструктура [20].

Л и т е р а т у р а

1. Богатуров, А. Десять лет парадигмы освоения / А. Богатуров // Pro et Contra. — 2000. — № 1. — Т. 5.
2. Пантин, В. Сможет ли российская наука понять, что происходит в России? / В. Пантин // Pro et Contra. — 2000. — № 2. — Т. 5.
3. Шириков, А.С. Транзитология: затянувшееся прощание? / А.С. Шириков // Полис. — 2005. — № 2.
4. Вишневский, А. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР / А. Вишневский. — М., 1998.
5. Миронов, Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — нач. XX века). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. / Б.Н. Миронов. — СПб., 1999. — Т. 2. — С. 332—335.
6. Наумова, Н.Ф. Социальная политика в условиях запаздывающей модернизации / Н.Ф. Наумова // Социол. журн. — 1994. — № 1. — С. 6.
7. Кравченко, А.И. Социология Макса Вебера: труд и экономика / А.И. Кравченко. — М., 1997.
8. Соколов, С. Проблемы цивилизационной целостности постсоветской России / С. Соколов // Свободная мысль. — 2006. — № 7—8. — С. 161.
9. Иноземцев, В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В.Л. Иноземцев. — М., 2003.
10. Бухарин, Н.И. Демократическое правовое государство и гражданское общество в странах Центрально-Восточной Европы / Н.И. Бухарин // Мир перемен. — 2004. — № 1. — С. 88.
11. Кудров, В.М. Экономика «Трех Европ» на подъеме (сопоставительный анализ) / В.М. Кудров. — М.: ИЕ РАН: Огни ТД, 2005.

12. Тихонова, Н.Е. Россияне на современном этапе социокультурной модернизации / Н.Е. Тихонова // *Общественные науки и современность*. — 2006. — № 1. — С. 43.
13. Тренин, Д. Россия и конец Евразии / Д. Тренин // *Pro et Contra*. — 2005. — № 1. — С. 17.
14. Воронков, В. Введение. Постсоветские этничности / В. Воронков, Н. Освальд // *Конструирование этничности*. — СПб., 1997. — С. 7.
15. Козн, С. Изучение России без России. Крах американской постсоветологии / С. Козн. — Серия «АИРО — Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». — Вып. 4. — М., 1999.
16. Красильщиков, В. Россия и мировые модернизации / В. Красильщиков // *Pro et Contra*. — 1999. — Т. 4. — № 3. — С. 97—98.
17. Кандель, П.Е. Россия — СНГ: баланс центробежных и центростремительных тенденций / П.Е. Кандель // *Европа: вчера, сегодня, завтра*. — М., 2002. — С. 549.
18. Буховец, О.Г. Постсоветское «великое переселение народов»: Беларусь, Россия, Украина и другие / О.Г. Буховец. — Серия «АИРО — Научные доклады и дискуссии». — Вып. 11. — М., 2000.
19. Данилов, В.П. Падение советского общества: коллапс, институциональный кризис или термидорианский переворот? / В.П. Данилов. — М., 1999.
20. Рукавишников, В. Политические культуры и социальные изменения: международные сравнения / В. Рукавишников, Л. Халман, П. Эстер. — М., 1998.

А.А. Быков,

доктор экономических наук, доцент

Е.Н. Лапченко,

аспирант

В.В. Паращенко,

ассистент

ОЦЕНКА ПРОЕКТНОГО РИСКА НА ОСНОВЕ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Обеспечение устойчивого роста белорусской экономики требует модернизации предприятий реального сектора, открытия новых импортозамещающих и экспортно-ориентированных производств, развития инфраструктуры, особенно в регионах страны. Для решения поставленных задач в 2008 г. правительство наметило увеличить инвестиции в экономику на 15—17 % и довести показатель отношения инвестиций к ВВП до 29 % [2]. Между тем любой инвестиционный проект наряду с потенциальными выгодами несет в себе риски, поэтому анализ рисков является обязательным. В данной статье на основе уточнения понятия риска в инвестиционном проектировании предлагается новая методика анализа риска в традиционных проектах, связанных с созданием материальных активов. Основой для применения этой методики служит